

Генри Лайон Олди

Аз воздам



Часть сборника
Песни Петера Сьядека
(сборник)



Генри Лайон Олди
Аз воздам
Серия «Хёнингский цикл»
Серия «Песни Петера
Сьядека», книга 11

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165760
Песни Петера Сьядека: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-20800-5

Аннотация

«Куцая и бестолковая, как щенок дворняжки, ярмарка валялась на лугу кверху брюхом. Вымаливала ласку: «Кто почешет?!» Чесали все, кому не лень. Деньги здесь были не в почете, из монет обычно вязали мониста, для девичьей красы, а посему меняли больше товар на товар. Холст на веревки, вервие на овчину, косматые шкуры на лемехи, соху на серпы, жатки на сыр, сыр катался в масле, а масло после долгого торга оборачивалось сальной горкой свечей и двумя поясами в придачу. Били по рукам, спорили до хрипоты, бранились всласть, с остервенением, выпучив жабыи глаза. Ближе к реке цыган в малиновой, латаной-перелатаной рубаше и без штанов

продавал кобылу мужичку-хитровану, надвинувшему картуз на самые брови...»

Генри Лайон Олди

Аз воздам

"Пребывая в сей глухомани, откуда уж и не чаял вырваться без ущерба душевному здоровью, услышал я от местных жителей престранную историю. Дескать, имеется в Лелюшых горах, в местах отдаленных и труднодоступных, некое селение, где неизменно проживают один-два, а временами и больше селян, испытывающих от соотечественников великий почет и уважение, ничем не объясняемое. Ибо ни знатностью рода, ни властью, ни иными заслугами и добродетелями эти счастливцы не обладают.

Спросив же о причинах и услышав ответ, долго дивился я чудным суевериям здешних горцев, не пивших из ключа просвещения..."

Из личной переписки: «Барон Карл Фридрих Иеронимус фон Мюнхгаузен-ауф-Боденвердер – Рудольфу-Эриху Распе и Готфриду-Августу Бюргеру»

Воздастся по вере,

В молитве и в блуде.

Пускай мы не звери,

Но разве мы люди?

Вы – были.

Мы – будем.

Вы – стены и будни.

Мы – праздник и двери.

Ниру Бобовай

Куцая и бестолковая, как щенок дворняжки, ярмарка валялась на лугу кверху брюхом. Вымаливала ласку: «Кто почешет?!» Чесали все, кому не лень. Деньги здесь были не в почете, из монет обычно вязали мониста, для девичьей красоты, а посему меняли больше товар на товар. Холст на веревки, вервие на овчину, косматые шкуры на лемехи, соху на серпы, жатки на сыр, сыр катался в масле, а масло после долгого торга оборачивалось сальной горкой свечей и двумя поясами в придачу. Били по рукам, спорили до хрипоты, бранились всласть, с остервенением, выпучив жабы глаза. Ближе к реке цыган в малиновой, латаной-перелатаной рубаше и без штанов продавал кобылу мужичку-хитровану, надвинувшему картуз на самые брови. Нашла коса на камень! — ор стоял до небес. Кобыла, явно ворованная, причем совсем недавно, ибо сохранила здоровую упитанность, злобно показывала зубы. Даже когда не просили, скалилась, зараза.

Видать, глумилась над всеми подряд.

Петеру менять было нечего и не на что. Махнем тощее брюхо на косой взгляд? В этой глуши, зажатой между отрогами Поциновицы и хребтом Галатравы, как девку-перестариху зажимают у плетня хмельные и оттого неразборчивые парни, лютнист скитался третью неделю. Народ здесь обретался жадный и скучный. Песни слушал с серьезной озабоченностью, будто пни корчевал, музыки без слов, предпочтительно бранных, не признавал вовсе, полагая сие убожество никчемным сотрясением воздуха, а после любовных

канцон хмыкал и шел прочь, сплевывая со значением. Сельские волынщики, гнусавые и нудные, как их инструменты (да и напевы, если честно...), намекали сопернику: «Искалечим! Пшел вон, однозимец!» На свадьбах много пили, ели в три горла. Взамен плясок и распевных здравниц стуча кулачищами в стол; в лучшем случае затевали спор, чей подарок дороже.

Краюху хлеба кинут – счастье.

На ночлег пустят, в хлев – праздник.

Последние три дня не кидали и не пускали. Напротив, гнали взашей, грозя спустить собак. В голову лезли подлые мысли: побираться? красть? Увы, с милостыней дело обстояло еще хуже, нежели с платой за искусство, а красть Сьядек не умел и знал за собой такую беду. Попадешься, станут бить. Ребра сломают, нутро испортят. Или насмерть затопчут, скупердяи: человечка за курицу задавить, это им дело плевое. Можно сказать, святое дело. Выбредя к ярмарке, он сперва обрадовался, рассчитывая спуститься вниз по Брыхте, пенной и вертлявой, словно ведьма на помеле, вместе с плотогонями, теща их песнями, – или примкнуть к торговым возам, делая любую работу за право сидеть днем на телеге, а вечером у котла с кулешом. Идти дальше означало забираться в горы, дубовые леса Градека и ущелья Козины, а с горами у бродяги были давние счеты. Велика радость – сдохнуть от голода под скалой, достаться в зубы пастушьим овчаркам или, надрываясь, веселить злых разбойников-душегубов? Люди

добрые, люди хорошие, возьмите, спасите, вывезите, я в долгу не останусь!.. Жаль, ноги с голодухи держали скверно, и в щеки вступила синяя, восковая бледность. Кому нужен хоть весельчак, хоть работник, ежели ветер дует, а он качается?

Даже самому себе бродяга не хотел признаться, что не голод, не усталость, не жадность здешних скряг служили главной причиной душевного расстройства. Все это вместе рождало в сердце гнойную занозу: а может, ты, братец, и впрямь бездельник? Ходишь-бродишь, коптишь белый свет! – сквозняк, бестолочь, пустой человечиска?.. Должно быть, так. Помрет некий Петер Сълядек в роще, на свежем воздухе, отлетит душа в дальние эмпиреи, спросят душу грозным спросом: «Пел, стрекозел? На струнах бряцал? Стишки плел? Иди, покумекай на сковородке о житье-бытье, о хлебе насущном, который в поте лица!» Гадкие роились мыслишки, ядовитые, хуже шершней.

– Сапоги! Кому сапоги!

Под тополем, что серебряной пикой ударил в мякоть неба, купалась в зависти и вожделении главная ценность ярмарки: сапоги. До колен, из мягчайшей юфти, выделанной на чистом дегте. Подбор высок, для щеголей, голенища «гармошкой», подковки со множеством гвоздей по всей подошве. Роскошь! К сапогам приценивались многие. Чесали в затылках, глядели в облака, надеясь, что оттуда добрый боженька скинет грошик недостачи; грустно сморкались мимо товара и шли прочь. Петер сперва уместился рядом, достав

лютию; но вскоре, при полном безразличии народа отыграв «Славицу», три плясовые и «Ой, цветет вишня!», уразумел: смысла продолжать нет. Встать тоже не получилось. Усталые ноги превратились в чулки: вялые, шерстяные. Колючие. Надеть можно, в угол швырнуть можно, а ходить нельзя.

Пропадаю, затосковал Сълядек. Как есть пропадаю.

Особого восторга эта мысль не вызвала, хотя и вытеснила рой мерзких шершней, жужжавших: «Без-з-здельник! Без-з-здарь!..» И на том спасибо. Мрачен, утонув в головокружении, бродяга следил, как вокруг сапог вертится людская карусель, завидуя и сокрушаясь. От возов тянуло жареной гусятиной, пивным духом солода, там на углях пекли рыбу, измазав ее глиной, томили бараньи ребрышки в меду, упрятав на дно казана и завалив поверх резаной репой, там пили молоко из глечиков, мазали усы сметаной, и толстые ломти сыра перемалывались жерновами крепких челюстей... эх, там!.. ах, там!.. ох... Бродяга засыпал, плавал в душной дреме, мечтая о еде, и очень не хотелось спать вечно, мечтать вечно, чувствуя, как кишки скручиваются жгутами, зарастая изнутри страшной плесенью голода...

– О! Сапожцы! Знатные сапожцы!

– Первый сорт!

– Дорого просишь, небось?

– Обижаете! Для вас – полцены!

Было в вопросе и ответе, столь обыкновенных, что скулы сводило, нечто удивительное. Будто в женской, сдобной па-

зухе, которой детей кормить да парней с ума сводить, сверкнул укрытый до поры ножевой клинок. Даже голод слегка изумился, впустую щелкнув клыками; даже сон-обманщик взбил вихор, отступил на шаг, разглядывая нового покупателя. Им оказался сытый, румяный дядька в летах. Подбоченясь, толстун любовался обувкой. Рядом вертелась голенастая девчонка, дочь или внучка, и хмурый жердяй в нагольном кожухе, несмотря на зной. Очнувшись, Петер невпопад задумался, что так зацепило его в случайном разговоре. Выходило, что ерунда, пустяк, как пустячен камешек, с какого начинается обвал в горах. В вопросе пряталась странная подковырка, а в ответе – искренность, невозможная для торговца.

В руках дядька держал чекан, малый топорик на буковом древке. Здешние мужчины-женатики все расхаживали с такими, украшая верхнюю часть чеканов резьбой по металлу и шляпками гвоздей. На свадьбу, крестины, в дальние поездки и на летние выпасы без эдакой штуки серьезному хозяину являться нельзя: засмеют. С чекана взгляд Петера соскользнул на плечо дядьки, далее на широкий рукав куртки...

На рукаве, выше локтя, был косо нашит знак: желтая ладонь в растопырку. Значит, у дядьки имелось три ладони – две свои, урожденные, и еще одна, кожаная. Для красоты, должно быть. Он и так разоделся франтом, не по возрасту и чину: кипяченая в масле, рубаха-непромокайка у ворота застегнута медной запонкой с цепочками, баранья шапка в

бляшках и раковинках. Белые штаны с лазоревыми и алыми завязками дядька заправил в онучи, а на ногах его красовались керпцы из цельного куска кожи. Выходило, для полного счастья пожилому щеголю не хватает только сапог, а там хоть трава не расти, хоть кура не несись!

Наслаждаясь видом сапожек, дядька ухватил с ближайшего воза хлебец, густо усыпанный тмином. Сунул в рот, зачавкал. Ужасаясь, Петер Сьядек ждал скандала: сомнут, затопчут! Если повезет, всего лишь обложат крепкой бранью. Ничуть не бывало: владелец хлебца захохотал с радостью, столь честной и сердечной, что она могла вызвать у стороннего зрителя умопомрачение, и пододвинул к дядьке ближе второй хлебец. Дядька сжевал и второй, забыв поблагодарить. Сбоку ему ткнули вяленого караса – схарчил рыбешку за компанию, с костями и чешуей. Видимо, сильно задумался. Юркий малец исподтишка сунулся в дядькину суму. Сьядек поначалу решил: «Воришка!» – ан нет! Малец тихонько оставил в суме обгрызенный калач, потом взял у счастливой бабы лепешку с сыром, тоже, больше не таясь, запихал в суму и удрал, приплясывая. Баба кланялась вслед мальчишке, будто тот помог ей, хворой, в светлый праздник дойти до церкви.

Через минуту дядька на самом деле купил сапоги за полцены.

Не торгуясь.

А Петер Сьядек решил, что от голода видит сон наяву.

Вокруг радовались люди, без малейшей зависти помогая дядьке снять керпцы и надеть «сапожцы». Кто-то наливал франту пива, требуя sprysнуть обнову, кто-то уговаривал закусить гусиным боком. Голенастую девчонку гладили по голове, жердяя оттеснили прочь, занятые важным, безотлагательным делом – сделать румяному дядьке хорошо, совсем хорошо и еще лучше. Здесь не таилось угодливости, с какой низшие лебезят перед высшим, не крылось подхалимства или лести – ничуть! Все благодеяния делались с распахнутой душой, честно и трудолюбиво, можно сказать, деловито, будто народ строил дом, просторный и светлый, где собирался начать жить прямо с завтрашнего утра.

– Кто это?! – дуря, прошептал бродяга. – Горный Король?!

– Бери выше! Это Иржек Сторец!

Высокая, одетая по-мужски женщина ответила с равнодушием, едва взглянув на Петера. Так отвечают чужому, указывая путь, и сразу забывают о нем. Впрочем, на дядьку женщина смотрела также без особой приветливости, не спеша одарить его товаром или услугой, чем резко выделялась из толпы. В кожаных штанах, в тканой кацавейке без рукавов, накинутой поверх черной рубашки, покрыв голову плоской шляпой с узкими полями, она думала о чем-то своем, дальнем. Меж бровей женщины запала чудная складка, напоминающая незнакомую букву. Или контур ладони, похожей на дядькин знак.

– Старец? Он же еще не старый!

– Сторец, глупый! А, ты издалека...

– Эй, одноземец! Играй! Плясать желаю!

Сперва Петер не поверил своему счастью. Это от голода. Это сон. Богатей, чуть не лопающийся от румянца, счастливчик, обласканный всеобщим почтением, желает плясать в новых сапогах. И заказывает музыку не кому-то, а ему, пострадавшему от местной скаредности Петеру Сьядеку. «Капризная Госпожа» кошкой вывернулась из чехла. Настроить лютню удалось быстро, несмотря на головокружение и соющую пиявку, угнездившуюся во чреве. Одно бежало лютниста: кураж. Дело, пожалуй, крылось не в презрительном «одноземец!». Просто душа никак не желала просыпаться, задремывая, всхрапывая, из-под век наблюдая за происходящим остраненным взглядом сновидца. Ну и ладно. Играя без души, без сердца, одними пальцами, бродяга следил, как дядька топает правой ногой, затем левой, далее, выказав несвойственную возрасту и телосложению прыть, скачет через собственный чекан, ухватив его руками за древко и лезвие. Подпрыгивая, Иржек Сторец, замечательный, счастливый человек, скрещивал ноги в воздухе, подобно тому, как скрещивают пальцы на удачу.

Народ следил за пляской внимательно, наморщив лбы.

Словно на глазок прикидывал размер чужой радости.

Мало-помалу дядька оттанцовывал все дальше и дальше, спускаясь мимо возов к берегу Брыхты. Петер старался иг-

рать громче, чтоб танцору было слышно. «Капризная Госпожа» уже не пела: кричала, орала, вопила благим матом. Мелодия скатилась до нарочитой простоты, которая, как известно, хуже воровства, дозволив чистому ритму управлять прыжками и выкрутасами танцора. Лютнист недоумевал: какого рожна толстяк не желает плясать здесь? Но в поведении дядьки крылся явный умысел: дерзкий и опасный, судя по поведению толпы. Чем ближе он подходил к реке, тем отчетливей в молчании народа звенело осуждение и страх. Будто Иржек Сторец плясал на коньке крыши, ежесекундно рискуя свалиться вниз и сломать шею; на краю обрыва скакал он козлом, сумасброд, выказывая лихость и грозя сей же час свести счеты с жизнью.

Создавалось впечатление, что, сломав шею, Сторец тем самым отберет у окружающих важное имущество.

Навсегда.

– Дурень! – тихо сказала женщина, одетая по-мужски. – Чем шутишь?!

Разумеется, дядька ее не слышал. Он плясал. Оттапывая новые сапоги, купленные по дешевке. Небо над ним нахмурилось, два облака сошлись, мрачней, становясь тучами, двойной хмарью. Меж тучами залегла знакомая складка – пальцы чудной пятерни грозили сжаться в кулак, ударив молнией! Птицы, ранее кружившие мелкими стайками, начали сбиваться в одну, большую стаю, напомнившую лютнисту клин, какой вгоняют в трещину на пне, желая раско-

лоть. «Батенька! – взвизгнула голенастая девчонка. – Батенька, хватит!». В безмолвии толпы это прозвучало дико. Кто-то заворочался под Петером, в недрах земли; видать, земля тоже проголодалась, в ней угнездилась злорадная пиявка, присасываясь к требухе. Ветер метнулся над головами, горстями разбросав запах истлевшей травы и грибов, светящихся в ночной темноте. И дышать стало трудно. Лютня билась в руках. Плясал дядька. Молчали люди. Новые сапоги разбрасывали мокрую гальку у плотов, готовых к сплаву. Лютня. Дядька. Толпа. Река. Пляска...

– Батенька!

– Дурень! – одними губами шепнула женщина, похожая на мужчину. От нее пахло не грибным ветром, а июньской грозой, остро и пронзительно. – Все, край!

Дядька собрался было пойти вприсядку на плоты, но раздумал. Остановился. Пригладил мокрые волосы, подобрал шапку, которую потерял во время танца. И с нарочитой ленцой, нога за ногу, пошел обратно, строя уморительные рожи. Дразнился, подлец. Махнул дочке или внучке, дождался, пока голенастая догонит, поискал глазами жердяя.

– Ух, сапожцы! Самоплясы!

Толпа без единого слова глядела, как лихой плясун, счастливейший из смертных, уходит за вozy. Где шипело, жарилось, томилось и разливалось в кружки. Видно, проголодался с устатку. Около ближайшей телеги Иржек Сторец обернулся, нашарил взглядом лютниста: «Однозимец! Пора-

довал!..» Петер привстал навстречу, искренне надеясь, что сейчас его позовут, угостят, утихомирят проклятый голод... Нет, дядька сразу забыл о музыканте, исчезая за возами. Не позвал, счастливый. Не кинул денежку, удачливый. Черствой коркой не пожаловал, почтенный. Так просто ушел, как и не бывало никакого Петера Съядека с его лютней. Хоть бы благодарностью оделил – и здесь нет. Всего лишь отметил, что его, дядьку Иржека со смешной фамилией Сторец, порадовали. Вот, значит, хорошо, если порадовали. Пускай теперь все радуются.

Петеру Съядеку было очень стыдно, но он заплакал от обиды.

Народ расходился по своим делам, ярмарка закипала вновь, а возле торговца сапогами сидел бродяга с лютней на коленях и плакал без звука, без слез. Как раньше играл одними пальцами, так сейчас рыдал одним сердцем. Голод, и тот отступил перед обидой. Тварь. Сволочь румяная. Поманил надеждой и уплясал, гадюка. Бранные слова, прежде чужие, неприятные, сейчас казались родными и близкими. Умру, и все равно буду мертвым ртом бранить гада Иржека.

– Ты чего? – присела рядом женщина. Запах грозы от нее делался слабее, исчезая.

– Гад! гад... жадюга... Я ему! играл!.. а он мне...

На немолодом, еще красивом лице женщины пробилося понимание.

– Бедняга... Он – тебе? Какая разница, что он – тебе, если

ты – ему?! Ведь Иржек сказал: порадовал, мол! Чего ты еще хочешь, дурила?!

– Есть я хочу! С голоду помираю!

– Тогда пошли. Накормлю.

– У меня... мне нечем платить.

– Даром накормлю. Вставай! Или помочь?

– За что? – спросил Петер, силясь подняться. – Я ведь ему играл, не вам?

– За то, что ему играл, – непонятно ответила женщина. – За то, что его порадовал.

И добавила:

– За то, что он от края отступил.

Звали женщину Мирчей Хортицей. Это Петер узнал позже, когда Мирча, беспокоясь за его здоровье, силой отби-рала у обжоры восьмую лепешку, третью миску с острым, как бритва, и невероятно вкусным паприкашем, пятую кружку пива и ломоть брынзы, увы, несчитанный. Имя-фамилия оказались впору, словно хорошо сшитый наряд. В резком, гортанном рыке «Р-р-ча», чуть смягченном в начале жен-ственным «Ми-и...», проглядывали характер и статью, а «хор-тицей» здесь звали гончую суку, поджарую, неутомимую в беге и безжалостную к добыче. Все это удивительно шло Мирче, ее мужскому костюму, строгому, даже суровому ли-цу и грубоватому милосердию, с каким она отнеслась к ого-лодавшему бродяге. Складывалось впечатление, что Мирча – нездешняя. Не могла родиться эта женщина среди дород-

ных, медлительных скаредов, населявших Поциновицу и Галатраву. Даже среди горцев-пастухов Градека – не могла. Петер был уверен, что место рождения Мирчи Хортицы – рай. Где обитают святые. Тайком утащив яблоко, бродяга вгрызся в сочную мякоть, блаженно изнемогая от сытости. Сейчас он с уверенностью полагал себя самым счастливым человеком на свете, кому все должны искренне завидовать. Ну разве что Иржек Сторец счастливее. Потому что ему не завидуют – его любят.

Все.

Итогами размышлений Петер не замедлил поделиться с Мирчей.

– О да! – улыбнулась женщина, но брови ее сошлись, заставив складку-пятерню напрячься. – Ты на редкость проницателен, музыкант! Я даже удивляюсь, как ты с такой проницательностью еще жив! Хочешь, я расскажу тебе историю о счастливых людях? Повесть о Сторцах и Сторицах?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.